

ДОКТОР ПЁТР СОЙФЕР

ВКУС ВЕЧНОСТИ

алхимический триллер

18+

Петр Сойфер

Вкус вечности

<https://litres.ru/74558272>

SelfPub; 2026

Аннотация

Лион. Ресторан «L'Élixir» без вывески и телефона, куда попадают только по рекомендации, а очередь растягивается на семь месяцев. Его хозяйке, шеф-повару Виолетте Дюбуа, сорок пять лет, но гости принимают её за дочь хозяйки. Наследница династии лионских аптекарей, она читает людей по запаху и каждое утро при свече поверяет свои тайны единственному другу — старинному венецианскому зеркалу.

У её вечной молодости есть рецепт, записанный предком в чёрной книге почти четыре века назад. И есть цена, которую платят другие.

Всё меняется, когда на кухню приходит новый су-шеф Жюльен, потомок парфюмеров из Граса, чьё обоняние острее её собственного. Впервые Виолетта встречает равного. Впервые кто-то слышит её насквозь.

Алхимический триллер и гастрономическая готика — новелла о страхе старения, жажде бессмертия и о том, что остаётся от человека, когда мир перестаёт пахнуть.

Содержание

ВКУС ВЕЧНОСТИ	4
Пролог	5
Глава 1. Алтарь у подножия Фурвьер	14
Глава 2. Ночные сборы в горах Пила	32
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Петр Сойфер

Вкус вечности

ВКУС ВЕЧНОСТИ

Доктор Пётр Сойфер

Новелла

18+

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты.

— Жан Антельм Брийя-Саварен, «Физиология вкуса»,

1825

Сила юности не умирает вместе с юношей. Она лишь ищет сосуд.

— Этьен Дюбуа, «Чёрная книга», 1633

Пролог

В семнадцатом столетии Лион пах так, как пахнут все большие торговые города на слиянии двух рек, только гуще. От Роны тянуло холодом альпийских снегов и мокрым камнем. От Соны поднимался дух ила, гниющих свай и отсыревшей пеньки, намотанной на кнехты барж. Над берегами стоял щелочной чад красилен, где шёлк вываривали в золе и мыле, и этот едкий пар оседал на губах прохожих горьковатой плёнкой. В переулках под холмом Фурвьер пахло кожевными чанами, свечным салом, конским навозом, скисшим вином из погребов и телами, не знавшими горячей воды с самого крещения. Пахли стены, почерневшие от копоти ещё при дедах нынешних жильцов. Пахли монастырские кухни, где с утра томилаась капуста. Пахли больные: сладко, тяжело, с оттенком прелого сена, и этот запах сочился из-под дверей на мостовую, чтобы смешаться у паперти собора Святого Иоанна с ладаном и воском.

Никто в Лионе не замечал этой симфонии, потому что никто не слышал другой.

Был, впрочем, один человек, различавший в ней каждый голос. Звали его Этьен Дюбуа. Он держал аптеку на улице Сен-Жан, в двух десятках шагов от собора, под вывеской с медной ступкой и обвившей её змеей. Этьен Дюбуа не отличался ни ростом, ни красотой, ни красноречием. Лицо у него

было узкое и бледное, как у человека, проводящего жизнь в полутьме. Зато нос его, длинный, с чуть вывернутыми ноздрями, обладал свойством, о котором сам Этьен никому не рассказывал, считая его то ли божьим даром, то ли божьим наказанием. Он мог, стоя за прилавком, определить по запаху вошедшего, чем тот болен, что ел накануне, с кем спал и сколько ему осталось жить.

Аптека была тесной и глубокой, как нора. Вдоль стен до самого потолка поднимались полки с фаянсовыми сосудами-альбарелло, расписанными синими листьями и латинскими буквами: *Theriaca*, *Mithridatium*, *Confectio Hyacinthi*, *Oleum Scorpionum*. В стеклянных банках лежали сушёные ящерицы, корень мандрагоры, похожий на скрюченного старика, клубки паутины для остановки крови, зубы, копыта, рога. Под потолком висели пучки полыни, руты и шалфея, и в жаркие дни от них шёл пыльный горький дух, в котором терялись все прочие запахи. На нижней полке, у самого пола, стоял широкий сосуд без росписи с короткой надписью: *Mumia*.

Этьен продавал аптечную мумию богатым горожанам от ушибов, падений, внутренних кровотечений и меланхолии. Порошок привозили из Александрии через Марсель, и стоил он дороже шафрана. Это была буро-чёрная крошка, похожая на смолу, растёртую с землёй. Пахла она битумом, миррой, древней пылью и ещё чем-то сладковатым, лежавшим на самом дне запаха, как осадок на дне бутылки. Этьен знал, от-

куда берётся этот сладковатый оттенок. Он читал Амбруаза Паре и помнил рассказ о королевском лекаре, посетившем в Александрии склад торговца мумиями. Торговец со смехом показал гостю сорок тел, приготовленных им самим за последние годы: рабов, нищих, чужестранцев, умерших от болезней, набитых смолой и высушенных в печи. Паре считал это снадобье обманом и ядом. Этьен Дюбуа считал Паре хирургом, а хирургов людьми, привыкшими доверять рукам больше, чем носу.

Сам он долго ни во что не верил. Он просто нюхал.

В 1628 году в Лион пришла чума. Она пришла с солдатами, возвращавшимися из Италии, и за год выкосила едва ли не половину города. Этьен не закрыл аптеку. Он стоял за прилавком в вощёном плаще и в маске с клювом, набитым розмарином и гвоздикой, и отпускал уксус четырёх разбойников, териак и ладанные свечи. Через клюв маски, сквозь розмарин и гвоздику, он всё равно слышал город. Он слышал, как пахнут умирающие старики: сухо, кисло, подгоревшим молоком и старой бумагой, словно их тела давно готовились к смерти и теперь лишь договаривали последнюю фразу. И он слышал, как пахнут умирающие юноши. Жар превращал их кожу в раскалённую печь, и из этой печи до последнего часа исходил густой, почти хлебный запах: молоко, соль, свежий пот, мёд, нагретая солнцем солома. Юность не хотела уходить. Она горела в них до конца, яростно и бесполезно, и уходила в землю нерастраченной вместе с ними.

Этьен запомнил этот запах. Он будет помнить его до самой смерти.

Через пять лет, когда чума отступила и город начал снова наполняться людьми, Этьен Дюбуа отправился в Венецию. Лучший в Европе териак варили именно там, и лионские аптекари раз в несколько лет посылали кого-нибудь из своих за сырьём и секретами. Этьен провёл в дороге три недели. Венеция встретила его запахом гнилой воды, водорослей, смолы, дорогих духов и отхожих мест, и всё это плыло над каналами, не смешиваясь, как масло над водой. На острове Дога-на каменщики возводили огромную белую церковь в благодарность Деве Марии за избавление от недавнего мора, и от строительных лесов пахло известью и сырым деревом.

На улице Мерчерия, среди лавок с бархатом и перцем, Этьен зашёл к торговцу муранским стеклом. Он собирался купить колбы для перегонки. Вышел он с зеркалом.

Зеркало было невелико, в две ладони шириной и в три высотой, в раме из тёмного орехового дерева с резным венком из листьев аканта. Торговец объяснил, что стекло выдувают цилиндром, режут и распрямляют в печи, а затем покрывают с изнанки тончайшим листом олова, залитым ртутью. Секрет этой амальгамы, сказал он, стеклодувы Мурано хранят под страхом смерти, и мастеру, сбежавшему с ним за границу, Республика может прислать убийцу. Этьен спросил, долго ли прослужит такое зеркало. Торговец пожал плечами.

— Дольше вас, синьор. Если беречь его от сырости.

Этьен заплатил за зеркало столько, сколько его отец зарабатывал за год. Он сам не понимал, зачем это делает. Лишь вечером, в гостинице, он поставил зеркало на стол, зажёл свечу и впервые в жизни увидел собственное лицо целиком: без волнистых искажений полированной меди, без мути дешёвого стекла. Он увидел узкие щёки, глубокие складки у рта, первые седые нити в бровях. Ему было тридцать девять лет. Он смотрел долго, почти до рассвета, и за всю ночь не отвёл глаз ни разу.

В том же году, вернувшись в Лион, Этьен Дюбуа заказал у переплётчика на улице Мерсьер толстую тетрадь в чёрной телячьей коже, без тиснения и надписей. Первую запись он сделал в ней по-латыни, мелким аптекарским почерком. Он переписал из трактата немецкого врача Освальда Кролля рецепт тинктуры мумии, приготавливаемой не из древних египтян, а из тела человека недавно умершего. Кролля требовал, чтобы тело было рыжеволосым, без изъяна, лет двадцати четырёх от роду, и чтобы смерть пришла к нему внезапно, не истощив болезнью, а после тело провело сутки под лучами солнца и луны. Под рецептом Этьен приписал одну строку уже по-французски, собственными словами: «Сила юности не умирает вместе с юношей. Она лишь ищет сосуд».

Что Этьен Дюбуа сделал с этим рецептом, книга умалчивает. На следующей странице записан способ приготовления розового уксуса от мигрени.

Зеркало он повесил в спальне над аптекой, напротив окна,

выходившего на восток. Каждое утро, до того как открыть ставни лавки, он подолгу стоял перед ним со свечой. Соседи находили, что аптекарь Дюбуа с годами почти не меняется. Умер он в 1671 году, в возрасте семидесяти семи лет, и женщины на отпевании шептались, что покойник выглядит моложе своего старшего сына.

Чёрная книга и зеркало перешли к сыну. Потом к внуку. Потом к правнуку.

Не все Дюбуа открывали книгу. Внук Этьена, Жан-Батист, человек набожный и боязливый, держал её в сундуке под молитвенником и за всю жизнь не прочёл ни строки. Его сын, напротив, прочёл её целиком и дописал два десятка страниц о *Mumia* Парацельса, бальзаме жизни, и о том, что эта сила, по мнению швейцарского доктора, остаётся в теле умершего насильственной смертью, как тепло остаётся в камне после заката. Кто-то из позднейших Дюбуа вырвал три страницы. Кто-то другой вложил между листами засушенную веточку горечавки, и она пролежала там больше двухсот лет, сохранив едва уловимый землистый запах.

В 1793 году армия Конвента осадила мятежный Лион. Два месяца на город падали ядра, а после сдачи на площадях заработала гильотина, и Конвент постановил, что Лион больше не существует. Тогдашний аптекарь Дюбуа замотал зеркало в тюфяк и спрятал в погребе, среди бочек с уксусом, а книгу зашил в подкладку жилета. Аптекаря не тронули: он лечил гвардейцев от дизентерии. Зеркало пролежало в по-

гребё полгода. Когда его подняли наверх и размотали, в левом нижнем углу, у самой рамы, темнело пятно величиной с ноготь. Сырость тронула амальгаму. Ртуть начала уходить.

В девятнадцатом веке аптека Дюбуа превратилась в фармацию с белыми фаянсовыми банками, латунными весами и дипломом медицинского факультета в рамке над кассой. Альбарелло с надписью *Mumia* убрали на чердак вместе с сушёными ящерицами. Очередной Дюбуа, выпускник Монпелье и поклонник Пастера, листал чёрную книгу по воскресеньям, как листают семейный альбом с портретами неприятных родственников, и смеялся над алхимическими бреднями предков. Выбросить её он всё же не решился. Зеркало продолжало висеть в спальне. Пятен на нём становилось больше: серые, с тусклым металлическим блеском, они расползались от краёв к середине медленно, как лишайник по камню.

В начале восьмидесятых годов прошлого века у последнего фармацевта рода Дюбуа родилась дочь. Её называли Виолеттой, в честь фиалки, чей запах, как утверждают парфюмеры, нельзя удержать надолго: он оглушает обоняние, и через несколько вдохов нос перестаёт его слышать, чтобы потом услышать снова.

С раннего детства девочка обладала тем же даром, что и Этьен. Она отказывалась от молока, если корова паслась на лугу с полынью. Она угадывала, кто из гостей пил накануне, а кто плакал. Она знала, что мать больна, за год до того, как

это узнали врачи, потому что от материнской подушки начало пахнуть иначе: мокрой штукатуркой и чем-то металлическим. Отец водил её в аптеку по субботам, давал нюхать травы из ящиков и радовался её памяти. Он надеялся, что дочь станет фармацевтом. Виолетта стала поваром.

Разница, как она поймёт много позже, заключалась лишь в размере посуды.

Аптеку продали в конце девяностых, через полгода после смерти отца. Покупатель, сеть оптик, снёс полки и заменил их стеклянными витринами с оправами. Из всего имущества Виолетта оставила себе две вещи. Чёрную книгу она не открывала почти двадцать лет. Зеркало повесила в спальне над своим будущим рестораном, в старом доме на той же улице Сен-Жан, напротив окна, выходившего на восток.

Каждое утро она смотрелась в него. Сначала по привычке, потом по необходимости, потом по потребности, не имевшей для неё названия.

В то утро, когда ей исполнилось тридцать пять лет, через четыре месяца после похорон мужа, Виолетта Дюбуа стояла перед зеркалом при свече, как стоял когда-то её далёкий предок. Лицо было прежним. Кожа гладкой. Под глазами лишь слегка темнело от бессонницы. Она поднесла к носу запястье, чтобы услышать собственное тело так, как слышала всех остальных, и замерла.

Под привычным запахом мыла, соли и тёплой кожи, на самом дне, лежала новая нота. Слабая, жирная, с оттенком су-

хой травы и старого воска. Её не услышал бы никто на свете. Виолетта услышала.

В тот же вечер она спустилась в кладовую, открыла сундук и достала книгу в чёрной телячьей коже. Из неё выпала сухая веточка горечавки и рассыпалась в пальцах в бурую пыль.

Зеркало не сказало ни слова. Оно видело это лицо у одиннадцати поколений Дюбуа и умело ждать.

Глава 1. Алтарь у подножия Фурвьер

Виолетта Дюбуа просыпалась в четыре часа сорок минут без будильника. Будильник ей был не нужен, как не нужен он часовому механизму. За десять лет её тело выучило время так же твёрдо, как выучило рецепт соуса беарнез или порядок специй в ящиках на кухне. Она открывала глаза в темноте, лежала неподвижно ровно столько, сколько требовалось для трёх глубоких вдохов, и слушала комнату.

Комната пахла остывшим воском, льняными простынями, высушенными на ветру, и старым деревом ставен. Из щели под окном тянуло Соной: в сентябре река пахла прохладнее, чем летом, к её иловому духу примешивались палые листья платанов с набережной и дизельная гарь первой баржи, шедшей к Перрашу. Снизу, с улицы Сен-Жан, поднимался запах мокрой брусчатки. Дворник уже прошёл со шлангом. Пекарня на углу ещё не открылась, но в её подвале, за двумя стенами и тридцатью метрами переулка, пекарь Бернар уже вынимал из печи первые багеты, и Виолетта слышала их отсюда: корку, слегка подгоревшую с одного бока, потому что заслонка у Бернара закрывалась неплотно с прошлой зимы.

Всё было на месте. Мир за ночь не изменился. Можно было вставать.

Она поднималась, не зажигая электричества. Электрический свет лжёт, считала Виолетта. Он плоский и равнодушный, он заливает лицо одинаково со всех сторон и прячет рельеф, как прячет его туман. Лампы в ванных комнатах придуманы для того, чтобы люди могли жить, не зная правды о себе. Виолетта предпочитала правду.

На комод у окна стоял подсвечник из потемневшего серебра. Свечи Виолетта покупала у пасечника из Бюже, в деревне под Амберьё, по две дюжины раз в сезон: чистый пчелиный воск без стеарина, тёплого цвета старой слоновой кости. Горел такой воск медленно, почти без копоти, и пах мёдом, прополисом и немного летним лугом. Спичку она зажигала о коробок одним движением и сразу гасила пальцами, чтобы запах серы не успел расползтись по комнате.

Пламя вытянулось, качнулось и замерло. Из темноты проступило зеркало.

Почти за четыре столетия оно не изменилось в размерах, но изменилось во всём остальном. Ореховая рама потемнела до цвета крепкого кофе, листья аканта на ней стёрлись от прикосновений, и в одном месте, справа внизу, резчик когда-то сорвал резец: там осталась крошечная щербинка, похожая на след ногтя. Виолетта знала её с четырёх лет. Стекло было чуть зеленоватым, с едва заметной волной у верхнего края, где его распрямляли в муранской печи. Амальгама болела. Серые пятна, начавшиеся в погребе в год осады, за два века разрослись в целую карту: архипелаг островов с туск-

лым металлическим блеском, окружавший центр зеркала со всех сторон. По краям пятна сливались в сплошную дымку, и отражение уходило в неё, как уходит берег в утренний туман. Свободным оставался лишь овал посередине, чуть больше человеческого лица.

Виолетта давно заметила, что за последние годы этот овал уменьшился. Она измеряла его раз в год, в день осеннего равноденствия, портновской лентой, и записывала результат в чёрную книгу. За десять лет овал сжался на четыре миллиметра по вертикали и на три по горизонтали.

Зеркало старело. Она — нет.

На мраморной доске комода, слева от подсвечника, стоял фаянсовый кувшин, а рядом с ним широкая медная чаша, вылуженная изнутри оловом. Воду для кувшина Виолетта привозила сама, раз в неделю, в стеклянных бутылках из родника в горах Пила, над деревушкой Ла-Валла. Вода была мягкой и холодной, с едва уловимым привкусом гранита и мха. Из-под крана она не умывалась никогда. Городская вода пахла хлором и старыми трубами, и этот запах оставался на коже до полудня.

Она налила воду в чашу. Сняла ночную рубашку, сложила её вдвое и повесила на спинку стула. Собрала волосы на затылке и заколола их черепаховым гребнем, доставшимся от матери.

Потом наклонилась и опустила лицо в воду.

Холод обжигал. Первые две секунды он был невыносим:

сжимал виски, давил на веки, и кровь отливала от щёк так резко, что в ушах начинало звенеть. На третьей секунде боль отступала. На пятой приходила ясность. Виолетта считала до двенадцати. Двенадцать — число апостолов, число месяцев, число знаков зодиака. Этьен Дюбуа в своей книге рекомендовал утреннее омовение в ледяной воде «для укрепления пор и изгнания из кожи ночных миазмов» и тоже считал до двенадцати. Виолетта не знала, верила ли она в миазмы. Зато она знала, что через двенадцать секунд капилляры сжимаются и кожа становится плотной, как свежий фарфор.

Она выпрямилась. Вода стекала по шее, по ключицам, по груди. Виолетта не вытиралась. Полотенце трёт кожу, а трение есть начало износа. Она стояла перед зеркалом неподвижно и ждала, пока влага высохнет сама, и в ожидании начинала осмотр.

Осмотр проходил в раз и навсегда установленном порядке. Порядок этот Виолетта составила десять лет назад и не нарушила его ни разу, даже в то утро, когда в ресторане ночью лопнула труба и повар-кондитер звонил ей шесть раз подряд.

Сначала лоб. Она подносила свечу ближе, почти касаясь пламенем стекла, и смотрела на кожу сбоку, в скользящем свете, как реставратор смотрит на холст. Скользящий свет беспощаден: он показывает каждый бугорок, каждую тень, каждый след будущей морщины задолго до её появления. Лоб был гладким. Тонкая горизонтальная линия, появившаяся

яся было у неё в тридцать четыре года и напугавшая её тогда до тошноты, исчезла без следа десять лет назад и больше не возвращалась.

Затем виски. Затем кожа между бровями, где у женщин, привыкших щуриться над плитой, рано ложатся две вертикальные складки. Складок не было.

Затем веки. Виолетта закрывала один глаз, потом другой, и оттягивала кожу кончиком безымянного пальца, самого слабого из всех, в сторону виска. Отпускала. Считала, за какое время кожа вернётся на место. Упругость век — лучший из известных ей способов узнать возраст. Кожа двадцатилетней возвращается мгновенно, словно её и не трогали. Кожа сорокалетней медлит, собирается мелкими складками и расправляется неохотно, как бумага, намокшая и высохшая. Кожа Виолетты возвращалась мгновенно.

Потом уголки глаз. Потом носогубные линии, от крыльев носа к углам рта: самое коварное место, где время работает тихо и неумолимо, как вода, точащая камень. Потом губы, их контур, чёткость каймы, цвет. Потом подбородок и линия челюсти. Она поворачивала голову влево и вправо, медленно, и следила за тенью, скользившей по скуле. Тень ложилась ровно.

Потом шея. Шея выдаёт женщин беспощаднее лица, потому что о лице они заботятся, а о шее забывают. Виолетта не забывала. Она запрокидывала голову, смотрела на кожу под подбородком, затем опускала подбородок к груди и

смотрела снова, отыскивая кольца, горизонтальные складки, дряблость. Их не было.

Последними шли руки. Виолетта клала их на мраморную доску ладонями вниз и подносила свечу. Руки повара проживают две жизни за одну: ожоги, порезы, соль, щёлок, горячая вода, ледяная вода, лук, чеснок, уксус. Руки старятся раньше всего остального тела и лгать не умеют. На тыльной стороне её ладоней не было ни пятнышка. Вены не выступали. Кожа на костяшках не собиралась в мелкие ромбы. Лишь на указательном пальце правой руки белел тонкий шрам от ножа, полученный в девятнадцать лет на кухне ресторана в Роане. Шрам был старше всего остального её тела. Иногда, глядя на него, Виолетта испытывала к нему смутную неприязнь, как к свидетелю, знающему слишком много.

На этом осмотр глазами заканчивался. Начиналось главное.

Виолетта задувала свечу. В темноте, закрыв глаза, она поднимала левую руку и подносила к лицу внутреннюю сторону запястья. Там, где кожа тоньше всего и пульс бьётся под самой поверхностью, тело говорит правду громче всего.

Она вдыхала медленно, через обе ноздри сразу, не торопясь, словно отпивала из бокала очень старое вино. Первым приходил запах родниковой воды: гранит, мох, холод. За ним запах собственной кожи, такой знакомый, что его почти невозможно было услышать: соль, тёплое молоко, чуть-чуть свежего хлеба, чуть-чуть мёда. Виолетта задерживала

дыхание, ждала, пока верхние ноты уйдут, и вдыхала снова, глубже, туда, где на самом дне запаха прячется то, чего человек не хочет о себе знать.

Она искала ноненаль.

Это название она узнала шесть лет назад из статьи японских химиков, опубликованной в самом начале двухтысячных. Японцы исследовали запах стареющего тела и нашли его источник: вещество, возникающее на коже, когда жирные кислоты кожного сала начинают окисляться иначе, чем в молодости. У людей моложе сорока его почти нет. После сорока его становится больше с каждым годом. Японцы называли этот запах «запахом возраста». Люди с обычным носом слышат его лишь в тесных непроветренных комнатах, где долго живут старики. Виолетта слышала его в метро, в лифтах, в зале собственного ресторана, на шеях гостей, заплативших за ужин по восемьсот евро. Жирный, травянистый, с оттенком залежалого воска и сухой бумаги. Запах пыльного чердака. Запах медленного поражения.

В то утро, когда ей исполнилось тридцать пять лет, она услышала его на своём запястье впервые.

Теперь она искала его каждое утро. На запястье. На сгибе локтя. За ухом. На затылке, под волосами, где кожное сало скапливается гуще всего и где ноненаль появляется раньше, чем в других местах. Она вдыхала и ждала, как ждёт часовой в ночной тишине шагов на лестнице.

Ноненалья не было. Под молоком и хлебом лежал только

тёплый, живой, чуть солоноватый дух молодой кожи. Такой кожи, какая бывает у женщин в двадцать лет, после купания в реке.

Виолетта открыла глаза и снова зажгла свечу.

Только теперь, закончив осмотр, она позволяла себе посмотреть в зеркало просто так, не проверяя, не измеряя, не ища. Просто посмотреть на лицо, глядевшее на неё из серого тумана амальгамы. Лицо было прекрасным. Она знала это без тщеславия, как знают о погоде за окном. Высокие скулы, тонкий прямой нос, тёмные глаза с длинными ресницами, и кожа, на которой пламя свечи лежало ровным тёплым светом, словно на лепестке. Ни одна из женщин, ужинавших вчера в её ресторане, не дала бы ей больше двадцати двух. Гости принимали её за дочь хозяйки. Поставщики, впервые приходившие на кухню, спрашивали у неё, где найти мадам Дюбуа.

Виолетта наклонилась к зеркалу почти вплотную и заговорила.

Она говорила шёпотом, так тихо, что слова рождались скорее в горле, чем на губах. Никто, кроме зеркала, никогда не слышал этого голоса. Он был совсем не похож на тот, которым она отдавала распоряжения на кухне: ниже, мягче, с долгими паузами, словно она говорила с кем-то очень старым и очень близким, кто понимает с полуслова и никуда не торопится.

— Доброе утро, — сказала она. — Ночью опять снился

отец. Он стоял в аптеке, за прилавком, и отвечивал на весах пустоту. Гирьки клал одну за другой, а чаша всё не опускалась. Я хотела сказать ему, что весы сломаны, но у меня не было голоса.

Пламя качнулось от её дыхания. По отражению пробежала тень, и на миг Виолетте показалось, что лицо в зеркале чуть заметно кивнуло.

— Ты скажешь, что это пустяки. Что сны — остаток дня, и ничего больше. Может быть. Я третью неделю сплю плохо. Всегда так бывает в сентябре. Ты помнишь.

Зеркало помнило. Зеркало помнило всё.

— Вчера у нас ужинал прокурор республики с женой. Жена пахла мускусом и страхом: боится, что он уйдёт к молодой. Он уйдёт. От него уже пахнет чужими духами, дешёвыми, с ванилью. Она съела всё, до последней крошки, а он оставил половину утки. Мужчины, которые скоро уйдут, всегда оставляют еду на тарелке. Я это давно заметила. Потом он спросил, не дочь ли я хозяйки. Я сказала, что хозяйка — я.

Она помолчала.

— Он не поверил. Никто не верит.

За окном, над Соной, небо над холмами Круа-Русс начинало светлеть. Серая полоса, почти невидимая, отделила крыши от неба. Виолетта знала, что времени остаётся немного. Солнце всходило в семь пятнадцать, а в шесть на кухню приходил Амаду.

— До равенствия девятнадцать дней, — сказала она ещё тише. — Я всё приготовлю. Горечавку соберу на следующей неделе, пока не ударили заморозки. Сланец на террасах уже подсох, мох будет хороший. Не волнуйся.

Она приблизила губы к стеклу, почти коснувшись его, и на холодной поверхности расплылось маленькое облачко её дыхания. Облачко легло прямо на одно из серых пятен амальгамы, на миг скрыло его и растаяло.

— Я пока не выбрала, — прошептала Виолетта. — Но я выберу. Я всегда выбираю вовремя.

Она задула свечу. Комната погрузилась в предрассветную синеву. Зеркало превратилось в тёмный прямоугольник на стене, и тусклые пятна амальгамы поблёскивали в нём, как звёзды в мутной воде.

Ресторан «L'Élixir» занимал первый этаж и подвал старого купеческого дома эпохи Возрождения, того самого, где Виолетта жила наверху. В путеводителях он не значился. Вывески у него не было, если не считать маленькой латунной таблички у двери с одним словом, выбитым изящным курсивом. Телефон не значился ни в одном справочнике. Столик нельзя было забронировать ни по интернету, ни через консьержей лучших отелей Лиона. Гости попадали в «L'Élixir» только по рекомендации других гостей, и список ожидания растягивался на семь месяцев вперёд.

В зале стояло шесть столов. Двенадцать мест. Двенадцать,

как секунд в ледяной воде.

Кухня была невелика и безупречна. Нержавеющая сталь, белый мрамор, медные сотейники на крюках, развешанные по размеру от самого крупного к самому мелкому, как трубы органа. Виолетта сама выбирала каждую кастрюлю и каждый нож. Здесь пахло так, как, по её убеждению, должна пахнуть кухня в шесть утра: ничем. Холодной сталью. Мыльной водой. Лёгким следом вчерашнего фона, выветрившимся за ночь до едва уловимой тени. Кухня пахла чистым листом бумаги.

Амаду пришёл в шесть ноль две, как приходил всегда. Он был сенегальцем, мыл посуду в «L'Élixir» девятый год и за всё это время произнёс, пожалуй, не больше тысячи слов. От него пахло крепким кофе, хозяйственным мылом и сандаловым маслом, которым он смазывал бороду. Виолетта ценила его выше всех поваров, прошедших через её кухню. Амаду ничего не спрашивал.

В семь пришёл мясник из Бресса с курами, в половине восьмого рыбак с Халле Поля Бокюза, в восемь сыровар из Сен-Марселлена. Каждый поставщик заходил через трабольш, узкий крытый проход, соединявший улицу Сен-Жан с параллельной ей улицей Беф. Когда-то по таким проходам лионские ткачи носили рулоны шёлка, укрывая их от дождя. Теперь по трабольшу носили ящики с провизией для одного из самых закрытых ресторанов Франции, и соседи давно привыкли, что по утрам из-за старой дубовой двери тянет то сы-

рой рыбой, то мокрым сыром, то кровью.

Виолетта принимала каждую поставку сама. Она не заглядывала в накладные. Она наклонялась над ящиком и нюхала. Бресские куры пахли зерном, влажными перьями и чуть-чуть страхом: страх уходил из мяса только через сутки, и она велела выдерживать их в холодильной камере до завтрашнего утра. Морской язык, пойманный позавчера у Олерона, пах йодом и холодом правильно, но в одной из рыбин прятался слабый, почти неразличимый оттенок аммиака. Виолетта отложила её в сторону, не сказав ни слова. Рыбник покраснел и забрал рыбину с собой.

Курьер винного дома опоздал на двадцать минут.

Она услышала его раньше, чем увидела. Сначала в траболе, за двумя поворотами, раздались торопливые шаги и звон бутылок в ящике, потом шаги замедлились, и в проходе повис запах. Виолетта стояла у разделочного стола, спиной к двери, и чистила трюфели маленьким изогнутым ножом. Она не обернулась. Она подняла голову и медленно вдохнула.

Дешёвый лосьон после бритья с синтетическим кедром, купленный в супермаркете в пластиковом флаконе. Табак, скрученный вручную, светлый, с добавкой ванили. Мятная жевательная резинка, безуспешно пытающаяся спрятать табак. Вчерашний кебаб с чесночным соусом, съеденный поздно ночью в одиночестве, стоя у окна, прямо из бумажного пакета. Порошок для стирки, дешёвый, с химической сире-

ню. Бензин от мотороллера. Кожаная куртка, слишком тёплая для сентября, надетая, чтобы выглядеть старше. Высохший на ветру пот.

И под всем этим, на самом дне, у самого истока, горячий, густой, почти хлебный запах: молоко, соль, свежий пот, мёд, нагретая солнцем солома.

Виолетта положила нож на доску.

— Простите, мадам, — сказали за её спиной. — Пробки на Круа-Русс. Мне сказали, товар надо отдать лично хозяйке. Мадам Дюбуа сегодня будет?

Она обернулась.

Перед ней стоял юноша лет двадцати двух, худой, чуть выше среднего роста, с тёмными волосами, завивавшимися на затылке в мелкие кольца. Под левым углом рта у него белел маленький шрам, как от падения с велосипеда в детстве. Глаза светло-карие, почти янтарные, с рыжими искрами вокруг зрачков. На нём была форменная футболка с эмблемой винного дома «Шабрие и сыновья» из Ампиои, мятая, с пятном от кофе на груди, и та самая кожаная куртка. На руках, державших тяжёлый ящик, от напряжения проступили вены. Он улыбался той улыбкой, какой улыбаются молодые мужчины, не уверенные, что их улыбка кому-нибудь нужна: широко, торопливо и немного виновато.

— Мадам Дюбуа — это я, — сказала Виолетта.

Улыбка на его лице на мгновение застыла. Он моргнул, посмотрел на неё внимательнее и покраснел до самых ушей.

Виолетта слышала, как изменился его запах: к хлебу и мёду добавилась горячая медная нота стыда.

— О. Простите. Я не... Мне сказали... Я думал, вы...

— Постарше, — подсказала она.

— Да. То есть нет. То есть... Простите.

— Не за что. Поставьте ящик сюда.

Он поставил ящик на стальной стол у двери, аккуратно, словно в нём было не вино, а новорождённый. Шесть бутылок кот-роти урожая две тысячи девятнадцатого года. Виолетта заказала их для утки.

— Кот-роти, — сказал юноша, явно стараясь загладить неловкость. — Две тысячи девятнадцатый. Очень хороший год. Сира, и немного вионье, кажется, процентов пять. Вионье даёт аромат... э-э... абрикоса. И фиалки.

Он произнёс название вина с тем старательным, чуть преувеличенным ударением, с каким произносят слова люди, недавно их выучившие и боящиеся ошибиться. Кончики его ушей всё ещё горели.

— Вы учите на сомелье? — спросила Виолетта.

— Готовлюсь. Экзамен весной. — Он помолчал и добавил, глядя в пол: — Если получится.

— Почему не получится?

Он пожал плечами. Жест вышел слишком быстрым, слишком небрежным, и Виолетта поняла, что этот вопрос ему задают часто, и чаще всех он сам.

— Мне один сомелье сказал, что у меня нос не тот. Из «Ла

Мер Бразье». Сказал, что вино надо чувствовать, а не зубрить. И что ему смешно слушать, как я выговариваю «шато-нёф». — Юноша криво усмехнулся. — Ну и ладно.

Виолетта молчала. Она смотрела на него так, как смотрела на морской язык в ящике рыбника, спокойно и внимательно, не торопясь с выводами. Но видела она теперь не его лицо.

Она видела комнату в Вилёрбане или в Вениссьё, на седьмом этаже панельного дома, с окном на кольцевую дорогу. Одну кружку в раковине. Одну подушку на кровати. Учебник по виноделию, раскрытый на главе о долине Роны, с карандашными пометками на полях. Телефон на тумбочке, экран которого он проверяет перед сном, хотя знает, что сообщений не будет. Отца, давно ушедшего, и мать, звонящую раз в месяц из Сент-Этьена, чтобы пожаловаться на сестру. Девушку, бросившую его прошлой весной ради кого-то постарше и побогаче. Сомелье из «Ла Мер Бразье», смеявшегося над его произношением. Каждое утро в зеркале ванной, освещённой плоским электрическим светом, — лицо, от которого он ждал больше, чем оно умело дать.

Всё это было в его запахе. Всё это было в том, как он держал плечи, и в пятне от кофе на футболке, и в пуговице на кармане куртки, пришитой не той ниткой.

— Подождите, — сказала Виолетта.

Она подошла к плите, где на самом краю, на крошечном огне, томился в медном сотейнике со вчерашнего вечера тёмный соус: винная основа, телячий фон, шалот, тимьян,

лавровый лист. Сняла крышку. Зачерпнула соус маленькой серебряной ложкой, подула на него и протянула ложку юноше.

— Попробуйте. Скажите, чего здесь не хватает.

Он взял ложку неуверенно, словно ожидал подвоха. Поднёс к губам. Попробовал.

И закрыл глаза.

Виолетта следила за его лицом. Она видела, как дрогнули его ресницы, как напряглись и расслабились мышцы вокруг рта, как чуть приподнялись брови. Он держал соус во рту долго, дольше, чем держат люди, желающие произвести впечатление. Он действительно искал. Секунда. Другая. Третья.

— Кислоты, — сказал он наконец, не открывая глаз. — Совсем немного. Там... там всё правильно, но оно как будто лежит. Ему надо... подняться. Капля уксуса? Нет. Не уксуса. Чего-то... — Он открыл глаза и растерянно посмотрел на неё. — Не знаю. Простите. Глупость, наверное.

— Не глупость, — сказала Виолетта. — Соусу не хватает кислоты. Я добавлю вердюз, сок недозрелого винограда. Вы правы.

Он смотрел на неё недоверчиво, как смотрят на подарок, который могут отнять. Потом улыбнулся. И это была уже совсем другая улыбка: медленная, изумлённая, беззащитная. Такой улыбкой улыбаются люди, которых впервые за долгое время похвалили всерьёз.

Запах его изменился снова. Медная нота стыда растаяла.

Хлеб, молоко и мёд поднялись со дна и заполнили собой всё: лосьон, табак, кебаб, бензин. Словно кто-то открыл заслонку в печи, и оттуда хлынул жар.

Виолетта отвела взгляд. У неё закружилась голова.

— Как вас зовут? — спросила она.

— Натан. Натан Жиро.

— Спасибо, Натан. Приходите в следующий четверг. Я закажу у вашего дома ещё кот-роти. Скажите в конторе, чтобы привезли именно вы.

Он кивнул, всё ещё улыбаясь. Он забыл про накладную. Виолетта сама подписала её и протянула ему копию. Он забыл и про ложку: так и держал её в руке, пока Виолетта мягко не забрала её из его пальцев. Потом он ушёл, пятясь, неловко задев плечом косяк двери, и в траболе ещё долго стихали его шаги.

Амаду молча мыл сотейники в дальнем углу кухни. Он не поднял головы.

Виолетта стояла у разделочного стола и держала в руке серебряную ложку. На её дне оставалась тонкая плёнка соуса, и на самом краю, там, где ложка коснулась его губ, лежал едва различимый влажный след.

Она поднесла ложку к лицу и вдохнула.

Телячий фон. Шалот. Тимьян. Винная основа. И поверх всего этого, тонкий, как паутина, живой и горячий, запах его дыхания: мятная резинка, табак, и под ними то, что вспыхнуло в нём минуту назад, когда она сказала, что он прав. Мо-

локо, соль, мёд, солома.

Он растратит это, подумала Виолетта. Растратит на дешёвое вино по пятницам, на девушек, которые уйдут к тем, кто постарше и побогаче, на экзамен, который, может быть, сдаст, а может быть, и нет, на серые офисы винных контор и ночные пробки на кольцевой. Через десять лет его глаза потускнеют. Через двадцать он будет вспоминать, что когда-то хотел стать сомелье, и смеяться над этим вместе с другими мужчинами в баре на углу. Через тридцать от него начнёт пахнуть ноненалем. Всё это жаркое, яростное, живое уйдёт в песок, как вода, пролитая на камень в полдень. Никто даже не заметит.

Какая бессмысленная расточительность.

Она тщательно вымыла ложку под горячей водой, вытерла её льняным полотенцем и убрала в ящик к остальному серебру. Потом взяла со стола свой экземпляр накладной, сложила его вдвое и положила в карман фартука.

В графе «Курьер», аккуратным округлым почерком, каким пишут люди, привыкшие стараться, было выведено: «Н. Жиро».

До осеннего равноденствия оставалось девятнадцать дней.

Глава 2. Ночные сборы в горах Пила

В ночь на десятое сентября Виолетта не ложилась вовсе.

Она закрыла ресторан в половине двенадцатого, проводила последних гостей, пересчитала серебро, проверила температуру в холодильных камерах, погасила свет в зале и поднялась к себе. Там она сменила кухонную куртку на старый шерстяной свитер отца, серый, с кожаными заплатами на локтях. Свитер давно потерял отцовский запах, но Виолетта помнила его и так: камфора, табак «Житан», ментоловые пастилки от горла и едва уловимый дух аптечного подвала, где стояли бутылки с глицерином. Она надела высокие ботинки на толстой подошве, повязала волосы тёмным платком и спустилась во двор.

Во дворе, под навесом, где когда-то держали лошадей, стояла машина. Это был универсал «вольво» цвета мокрого асфальта, купленный отцом в начале девяностых для развоза лекарств по деревням. В салоне до сих пор, спустя три с лишним десятка лет, в обивке сидений жил запах аптеки: йод, эфир, резина грелок, лакрица. Виолетта никогда не мыла салон химией. Она боялась, что запах уйдёт.

В багажнике лежало всё необходимое, уложенное с вечера в строгом порядке. Плетёная корзина из ивовых прутьев,

выстланная холстом. Шесть холщовых мешочков с вышитыми на них буквами. Три банки тёмного стекла с притёртыми пробками. Кожаный футляр с ножами. Моток пеньковой бечёвки. Фонарь с красным стеклом, чтобы свет не бил в глаза и не будил лес. И длинный свёрток из промасленной ткани, в котором лежали два инструмента.

Первым был серп. Небольшой, с лезвием в ладонь длиной, выгнутым как молодой месяц, и рукоятью из грушевого дерева, отполированной до блеска поколениями рук. Лезвие было серебряным. Не посеребрённым, а целиком отлитым из серебра девятьсот двадцать пятой пробы, по заказу прадеда Виолетты у лионского ювелира в 1911 году. Серебро мягко и быстро тупится, и после каждого сбора Виолетта правила серп на кожаном ремне. Но серебро не окисляет сок растений, как окисляет его железо. Друиды, как писал Плиний, срезали омелу золотым серпом по той же причине. Виолетта не верила в друидов. Она верила в химию.

Вторым инструментом была вилка горечавочника: тяжёлая стальная рогатина с двумя длинными зубьями и переключиной для ноги, какими горцы Юры и Оверни испокон веков выкапывали корни горечавки. В деревнях её называли вилами дьявола. Этой рогатиной выкопать корень, уходящий в землю на метр, мог только очень сильный или очень упрямый человек. Виолетта была упрямой.

Она выехала в два часа десять минут.

Ночной Лион пах иначе, чем дневной. Днём город заглушал сам себя: выхлопами, кофе из кафе, духами прохожих, раскалённым асфальтом, людским потом. Ночью эти голоса стихали, и из-под них проступало то, что лежало под городом всегда. Влажный камень набережных. Гниль опавших листьев в сточных канавах. Холодное железо трамвайных рельсов. Мокрая шерсть бездомной собаки, спавшей у входа в метро на площади Белькур. Сладковатый дух мусорных баков за ресторанами на улице Мерсьер. Река.

Виолетта ехала с опущенным стеклом. Она всегда ездила с опущенным стеклом, даже зимой, даже в дождь, потому что за стеклом мир становился немым, а немного мира она боялась.

За Живором город кончился. Потянулись склады, заправки, спящие посёлки с закрытыми ставнями. У Рив-де-Жье запахло старыми шахтами: угольной пылью, въевшейся в землю так глубоко, что её не вымыли сорок лет дождей, ржавчиной, мокрым шлаком. Потом дорога пошла вверх, петлями, через Сен-Шамон к перевалу Круа-де-Шобуре, и с каждым поворотом воздух становился холоднее, чище и тоньше.

На высоте восьмисот метров появились первые ели. Виолетта слышала их раньше, чем фары выхватили из темноты тёмные стволы: смола, холодная хвоя, прелые шишки, влажная кора. Потом буки, пахнущие совсем иначе: сухо, чуть сладко, подгнившим орехом. Потом папоротник, уже трону-

тый осенью, с горьковатым запахом ржавчины. В низинах, где скапливался туман, пахло грибами. Белые пошли на прошлой неделе, Виолетта слышала их через стекло, проезжая мимо, как слышат люди с улицы музыку за закрытым окном.

На перевале она остановила машину и выключила мотор.

Тишина была полной. Над хребтом стояли звёзды, крупные и холодные, какими их никогда не увидишь из Лиона. Температура упала до шести градусов. Виолетта сидела неподвижно, положив руки на руль, и дышала.

Потом из глубины леса, откуда-то снизу, со стороны долины Жье, донёлся звук.

Он начался низко, почти на пределе слуха, как далёкий гул мотора, потом поднялся, набрал силу и превратился в долгий, хриплый, мучительный рёв, от которого у Виолетты по спине побежали мурашки. Рёв оборвался. Через несколько секунд ему ответил второй, чуть выше, с другой стороны хребта. Потом третий.

Олени. В Пила начинался гон.

Виолетта вышла из машины и встала на обочине. Ветер тянул с юга, от долины, и через несколько минут принёс ей то, чего она ждала. Густой, тяжёлый, почти невыносимый запах самца во время гона: мускус, моча, взрытая копытами земля, раздавленная трава, мокрая шерсть и горячая кровь. Олень метил территорию. Он кричал на весь лес о том, что он молод, силен и готов драться до смерти за право оставить потомство. Через месяц гон закончится, и олень, потеряв-

ший за эти недели четверть веса, уйдёт в чашу зализывать раны. А на следующую осень его место займёт другой, мо- ложе.

Виолетта стояла на обочине и слушала рёв, закрыв глаза. Она думала о том, что природа тоже знает цену юности. Природа тратит её щедро, бездумно, ради одного мгновения, ради единственного броска семени в будущее. Природа — мот. Она сжигает молодых оленей в брачных боях, молодых лососей в горных реках, молодых мужчин в войнах и в барах на углу. Ей всё равно. У неё всегда будут новые.

У Виолетты новых не будет. У неё было только одно тело. Она вернулась в машину и поехала дальше, по гребню, туда, где над лесом поднималась тёмная игла телевизионной вышки на Крэ-де-л'Эйон.

Горная горечавка росла на высокогорных пастбищах между Крэ-де-л'Эйон и Крэ-де-ла-Пердри, высшей точкой массива, почти в полутора тысячах метров над уровнем моря. В июле эти луга желтели от её цветов: крупных, звездчатых, собранных ярусами вокруг высокого стебля, как свечи в канделябре. Теперь, в сентябре, цветы давно облетели. Стебли высохли и почернели. Их легко было не заметить в темноте, если не знать, куда смотреть.

Виолетта знала. Отец показал ей это место, когда ей было четырнадцать, и с тех пор она приезжала сюда каждую осень. Копать горечавку в Пила без разрешения запрещено. Кор-

ни собирают по лицензиям, под присмотром лесничих, и никогда больше определённой нормы. Виолетта разрешения не имела и не собиралась его просить. Отчасти поэтому она и приезжала ночью. Но только отчасти. Главная причина лежала в чёрной книге, на странице, исписанной почерком сына Жан-Батиста: корень горечавки, выкопанный при свете солнца, отдаёт свою силу свету, а выкопанный во тьме, до восхода, сохраняет её в себе. Виолетта понимала, что это суеверие. Она понимала также, что ночью, когда растение не дышит солнцем, в корне накапливается больше горьких гликозидов. Два знания жили в ней рядом и не мешали друг другу.

Она оставила машину на лесной дороге, взяла корзину, серп, вилку и фонарь с красным стеклом и пошла вверх по склону, через мокрую от росы траву.

Луг пах холодом, овечьим навозом, прошлогодним сеном, чабрецом и мятым клевером. Под ногами хрустели сухие стебли. Где-то внизу снова закричал олень. Виолетта шла медленно, водя фонарём по земле, и искала высохшие чёрные стебли высотой по пояс. Нашла первый. Присела на корточки, раздвинула траву и провела ладонью по земле у основания стебля. Земля была влажной, плотной, с запахом гранитного песка и прелых корней.

Она поставила вилку зубьями к земле, в двух ладонях от стебля, наступила на перекладину и перенесла на неё весь свой вес.

Зубья вошли в землю с глухим влажным звуком. Виолетта раскачала рогатину, вытащила, переставила на другую сторону и вонзила снова. Потом ещё раз. И ещё. Земля не отдавала корень, держала его цепко, как держит скупец кошелёк. Через десять минут у Виолетты онемели ладони. Через двадцать она сняла отцовский свитер и осталась в тонкой рубашке, от которой в холодном воздухе поднимался пар. Пот стекал по вискам, между лопатками, по животу. Виолетта слышала его запах: соль, тёплая кожа, молоко. Ноненаля в нём не было. Она проверила это машинально, как проверяют время по часам.

Наконец корень поддался. Виолетта опустилась на колени, запустила обе руки в землю и вытянула его на свет фонаря.

Он был огромным. Толще её запястья, длиной почти в руку, раздвоенный книзу, как ноги человека, морщинистый, желтовато-бурый, облепленный комьями чёрной земли. В красном свете фонаря он казался куском плоти. Виолетта поднесла его к лицу и вдохнула.

Горечь. Сначала земляная, плотная, как запах только что вскопанной грядки. Потом глубже, резче: горечь такой силы, что от неё сжималось горло и наворачивались слёзы, хотя она ещё даже не попробовала корень на вкус. Корень горечавки — самое горькое, что растёт на земле Европы. Под горечью лежала сладость, едва заметная, с оттенком мёда и печёного яблока. И совсем глубоко, на самом дне, жил странный, почти животный запах, похожий на запах старой кожи.

Виолетта положила корень в корзину, на холст, бережно, как кладут спящего младенца в колыбель. Потом взяла вилку и пошла к следующему стеблю.

За два часа она выкопала пять корней. Больше ей было не нужно.

Полынь росла ниже, на каменистых южных склонах, где лес расступался и солнце за лето прокаливало землю до сухого звона. Виолетта спустилась туда, когда небо на востоке едва заметно посветлело: не рассвет ещё, а лишь намёк на него, серая тень под чёрным.

Полынь она нашла по запаху за сотню шагов. Горькая, камфорная, пыльная, с металлическим привкусом, от которого першило в горле. Кусты стояли по пояс, серебристо-серые, словно припорошённые пеплом, и в сентябре на их верхушках ещё держались мелкие жёлтые шарики соцветий. Полынный цвет. Этьен Дюбуа называл его в своей книге «горькой звездой» и советовал срезать его только в последние дни перед осенним равноденствием, когда эфирного масла в соцветиях больше всего.

Виолетта развернула промасленную ткань и достала серебряный серп.

Она срезала соцветия одно за другим, коротким движением снизу вверх, придерживая стебель левой рукой. Серебро входило в стебель мягко, почти беззвучно, и из среза выступала капля густого зеленоватого сока. На воздухе капля

мгновенно начинала пахнуть сильнее. Руки Виолетты через несколько минут покрылись горькой смолистой плёнкой, и этот запах въелся в кожу так глубоко, что потом, дома, она будет отмывать его три дня.

На обочине лесной дороги, у старого межевого камня, росла вербена. Скромная трава с жёсткими стеблями и крошечными бледно-сиреневыми цветами, какую сотни людей в год проходят мимо, не взглянув. Римляне называли её священной травой и мели ею алтари Юпитера. Галльские жрецы собирали её в час, когда ни солнце, ни луна не стоят на небе, — ровно в такой, как сейчас. Запаха у лекарственной вербены почти не было. Лишь если растереть лист между пальцами, появлялось что-то слабое, сухое, травянистое, с горчинкой. Виолетта срезала два десятка стеблей и уложила их в отдельный мешочек с вышитой буквой V.

Оставалось последнее растение. За ним ей пришлось ехать.

В километре от лесной дороги, на опушке, стояли развалины фермы. Её бросили ещё до войны, когда молодые ушли в долину, на фабрики Сент-Этьена, а старики умерли один за другим, и больше в неё никто не вернулся. От фермы остались три стены из грубого гранита, провалившаяся крыша, заросший крапивой очаг и каменное корыто для воды, треснувшее пополам. Здесь пахло сырым камнем, крапивой, мышами, старой золой, птичьим помётом и тем особым запахом, какой бывает только в местах, откуда ушли люди: запа-

хом остывшей жизни.

Белена любит людей. Она растёт там, где люди жили: у стен, у порогов, на кучах мусора и навоза, на заброшенных огородах. Когда люди уходят, она остаётся, как остаётся после костра зола. Виолетта знала этот куст восьмой год. Каждую осень он поднимался на том же месте, у северной стены, возле очага, между крапивой и лопухами.

Она посветила фонарём. Растение было ей по грудь. Широкие листья, серо-зелёные, мягкие, покрытые липкими волосками. Цветы давно отцвели, и на их месте вдоль стеблей тянулись ряды коробочек, похожих на маленькие зубы, плотно сидящие в дёснах. От куста шёл тяжёлый, дурманящий, неприятный запах: мышиный, затхлый, с оттенком гнили. Запах, от которого инстинктивно отшатывается любое животное.

Виолетта надела перчатки из тонкой козьей кожи. Перчатки она надевала только для белены.

Она собрала коробочки быстро и точно, не касаясь листьев, и ссыпала их в банку тёмного стекла с притёртой пробкой. Закрыла пробку. Сняла перчатки, вывернула их наизнанку и убрала в отдельный мешок, чтобы сжечь дома. Потом постояла немного у развалин, глядя на пустой очаг.

Когда-то здесь варили суп. Кормили детей. Рожали, болели, умирали. Кто-то спал у этого очага в холодные ночи. Кто-то смотрел отсюда на ту же вершину, над которой сейчас бледнели звёзды. Теперь не осталось никого. Одна белена.

Жизнь ушла, а яд остался стеречь порог.

Виолетта села в машину.

Солнце она встретила на восточном склоне массива, на скальном выступе над долиной Роны.

Отсюда, с высоты тысячи двухсот метров, мир внизу казался чертежом, проведённым тонким пером. Рона лежала в утреннем тумане, как ртуть в пятнах амальгамы. Вдоль неё тянулись огни автострады, цепочки посёлков, бетонные корпуса атомной станции в Сен-Альбане, серые, как надгробия. А за долиной, далеко на востоке, над туманом, над холмами Дофине, поднималась стена.

Альпы.

В ясные сентябрьские утра их видно отсюда на двести километров. Сначала проступила вершина Монблана: крошечный розовый треугольник, вспыхнувший раньше всего остального мира, когда солнце ещё не показалось над горизонтом. Потом загорелись соседние пики. Потом весь хребет, от края до края, стал розовым, потом золотым, потом белым. Над ним поднялось солнце.

Виолетта смотрела на ледники, сощурившись.

Лёд. Вечный лёд, лежащий на вершинах тысячи лет. Лёд не стареет и не гниёт. В сибирской мерзлоте находят мамонтов, пролежавших десятки тысяч лет, с шерстью, с кожей, с последней травой в желудке. А здесь, в Альпах, в леднике нашли пастуха, умершего пять тысяч лет назад с медным то-

пором в руке и стрелой в плече, и его тело было таким, что альпинисты, обнаружившие его, решили, что наткнулись на недавно погибшего туриста.

Холод сохраняет. Горечь сохраняет. Соль сохраняет. Смола сохраняет. Вся история человечества — это история попыток сохранить: мясо в соли, рыбу в дыму, плоды в сахаре, фараонов в смоле, святых в раках, любовь в письмах, лица в зеркалах. И все эти попытки кончаются одинаково. Соль разъедает. Дым горчит. Сахар бродит. Смола трескается. Зеркало темнеет.

Есть только один способ сохранить жизнь, подумала Виолетта. Её нельзя запереть снаружи. Её можно только принять внутрь.

Солнце поднялось над Альпами целиком. Стало тепло. Где-то под скалой, в лесу, проснулись птицы.

Виолетта спустилась в долину.

Дорога в Ампюи вела вниз по восточному склону, петлями, мимо фруктовых садов, где уже собрали абрикосы и теперь снимали поздние груши. Сады пахли сладко и немного пьяно: падалицей, осами, забродившим соком. Потом сады кончились, и начались виноградники.

Кот-роти в переводе значит «жареный склон». Никакое другое название не подошло бы ему лучше. Виноградники поднимаются здесь от самой Роны почти отвесно, с уклоном до шестидесяти процентов, на узких террасах, выложен-

ных вручную из сухого камня. Лозу здесь сажали ещё римляне. Местные называют эти стены «шейе». Земля на террасах — выветренный сланец, чешуйчатый, серебристо-серый, с блёстками слюды. Он раскаляется под летним солнцем так, что обжигает ладонь, и отдаёт жар лозам ночью, как печь отдаёт тепло хлебу. Потому и вино здесь такое: тёмное, пряное, с дымком и фиалкой, словно в нём растворили сам камень.

Сбор урожая в этом году начался неделю назад. Утром по террасам уже карабкались сборщики с плетёными коробами за спиной, и над склонами стоял запах, от которого у Виолетты зашло сердце: раздавленные ягоды, липкий сок, пот, табачный дым, разогретый сланец, кожа сиры, пахнувшая чёрным перцем и чернилами.

Она остановила машину у подножия одной из самых старых террас, где лозы давно не обрабатывали и сухая кладка поросла мхом. Сланцевый мох рос прямо на камне, тонким тёмно-зелёным ковром, в трещинах между плитами. Виолетта знала: мох не имеет корней. Он пьёт то, что приносит ему дождь, и то, что отдаёт камень. За десятилетия он вбирает в себя сланец, слюду, железо, дымку виноградного сока, пыль с римских дорог. Мох — это память стены.

Она срезала несколько пластов серебряным серпом, аккуратно, от края, чтобы стена не заметила утраты, и уложила их в корзину поверх корней горечавки.

Выезжая из Ампиюи, она проехала по главной улице мимо дома из светлого камня с зелёными ставнями и деревянной

вывеской над воротами. На вывеске было написано: «Шабрие и сыновья. Виноделы с 1887 года». Во дворе стоял грузовик с открытым кузовом, и двое рабочих грузили в него ящики. Чуть в стороне, у ворот, стоял мотороллер.

Виолетта не остановилась. Она лишь сбавила скорость, проезжая мимо ворот, и глубоко вдохнула через открытое окно.

Натана там не было. Слишком рано. Но мотороллер был его. Она узнала запах бензина, дешёвого лосьона с синтетическим кедром и светлого табака с ванилью, пропитавших кожаное сиденье.

Она прибавила газу и поехала обратно, в горы.

Поместье называлось «Ле Шарм».

Название было двусмысленным, как всё, что осталось Виолетте от предков. По-французски «шарм» — это очарование, но в здешних горах так называют граб, дерево с серой, гладкой, словно мускулистой корой. Грабовая аллея вела к дому от старых ворот, и её не подстригали уже лет сорок. Ветви сплелись над дорогой в сплошной свод, и летом под ним стояли зелёные сумерки даже в полдень. Сейчас, в сентябре, листва начинала желтеть по краям, и в аллее пахло сырой корой, прелью и первыми опавшими листьями.

Дом построил в 1784 году правнук Этьена Дюбуа, разбогатевший на поставках лекарств для армии. Он задумывал его как летнее убежище от лионской жары и чумных повет-

рий: невысокий особняк из местного гранита с двускатной крышей, крытой каменными плитами-лозами, шесть комнат, кухня с очагом, где можно зажарить целого кабана, конюшня, амбар. А рядом с домом, соединённая с ним крытой галереей, стояла башня.

Башня была старше дома. Её построили ещё в пятнадцатом веке как сторожевую, на границе земель двух сеньоров, давно враждовавших из-за пастбищ. Круглая, в четыре этажа, из тёмного гранита, с узкими окнами-бойницами. Правнук Этьена купил её вместе с землёй и превратил в то, что в семье называли «кабинетом», а в чёрной книге — лабораторией.

Виолетта отперла тяжёлую дубовую дверь, окованную железом, и вошла.

Внизу было темно и холодно. Здесь, на первом этаже, пахло тем же, что и в погребе ресторана: камнем, плесенью, вином, сидром, яблоками, разложенными на деревянных решётках. Но стоило подняться по лестнице, и запахи менялись.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.